



ОНТОЛОГИИ АРТЕФАКТОВ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ «ЕСТЕСТВЕННЫХ»
И «ИСКУССТВЕННЫХ» КОМПОНЕНТОВ
ЖИЗНЕННОГО МИРА



Издательский дом ДЕЛО

УДК 70.1
ББК 87
О-48

РЕКОМЕНДОВАНО К ПЕЧАТИ УЧЕНЫМ СОВЕТОМ РАНХИГС

Рецензенты:

З. А. Сокулер, доктор философских наук
А. Е. Балабанов, кандидат философских наук

О-48 **Онтологии артефактов: взаимодействие «естественных» и «искусственных» компонентов жизненного мира/под ред. О.Е. Столяровой.** — М.: Издательский дом «Дело» РАНХИГС, 2012. — 456 с.

ISBN 978-5-7749-0686-4

Онтология отвечает на вопрос «что существует?». Авторы сборника «Онтологии артефактов: взаимодействие „естественных“ и „искусственных“ компонентов жизненного мира» исследуют историко-культурные, материальные и социальные контексты, в которых формируются ответы на этот важнейший для естественных и социальных наук вопрос. Сквозная тема сборника — вещи. Именно они представляют собой объекты-гибриды, в которых соединяется природное, социальное и идеальное бытие. Как «искусственное» влияет на «естественное»? Характеризуются ли продукты человеческого труда и интеллекта онтологической неполноценностью по сравнению с объектами природы, принадлежащими независимой от человека реальности? Независима ли «независимая реальность» от исторического, социального и телесного субъекта, который судит о ней? Являются ли результаты естественных наук артефактом? Обладают ли человек и общество онтологической автономией по отношению к материальному? Какое место в онтологической классификации занимают искусственный интеллект и искусственная жизнь? Угрожает ли обществу научно-технический прогресс? Угрожает ли обществу научно-техническому прогрессу? На эти и другие темы размышляют ведущие отечественные и зарубежные ученые, философы и социологи, представители таких направлений, как история и философия науки, социология знания, социальная эпистемология, философия техники, социальный конструктивизм.

Сборник является результатом международного междисциплинарного исследовательского проекта «Онтологии артефактов», итоги которого были представлены на одноименной международной конференции, состоявшейся в Москве в ноябре 2010 года.

Для специалистов в области социальных наук, ученых, интересующихся философскими основами естественных и технических наук, студентов и аспирантов.

УДК 70.1
ББК 87

© ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2012

ISBN 978-5-7749-0686-4

Содержание

Ольга Столярова. Онтологии артефактов:
жизненный мир как общая мера 7

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ АРТЕФАКТОВ

Линн Бейкер. Онтологическая значимость
артефактов. Пер. с англ. Г. К. Ольховикова 18
Елена Драглина-Черная. «Добавленная
реальность»: от интенций к институтам 34
Изабель Стенгерс. Сердце Бога
и вещество жизни. Пер. с англ. А. А. Столярова 42
Стив Фуллер. Природа как артефакт — и что значит
быть человеческим существом. Пер. с англ.
Н. А. Новиковой, О. Е. Столяровой 80
Николай Розов. Полипарадигмальная онтология
и ритуально-институциональная концепция
бытования и исторического развития артефактов 90
Ольга Столярова. Жизненный мир и базовые
онтологические допущения: проблема генезиса 113
Анна Ганжа. Идея текстуры и актуальные
проблемы онтической медиации 135

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ

Илья Касавин. Социальная онтология,
конструирование знания и междисциплинарные
исследования 162
Людмила Маркова. Артефакт как элемент науки . . . 176
Владимир Порус. На Мосту Интерпретаций:
Р. Мертон и социальная эпистемология 196

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ФИЛОСОФИЯ ТЕХНОЛОГИИ: ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕХНОКУЛЬТУРЫ

Эндрю Финберг. Средство как смысл: рациональность
и действие в критической теории технологии.
Пер. с англ. Е. А. Попова, О. Е. Столяровой 214

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

ФИЛОСОФИЯ ТЕХНОЛОГИИ:
ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ТЕХНОКУЛЬТУРЫ

Средство как смысл: рациональность и действие в критической теории технологии¹

ЭНДРЮ ФИНБЕРГ

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ В КРИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
ТЕХНОЛОГИИ

В 1888 году Эдвард Беллами опубликовал книгу «Looking backward» («Взгляд назад»)², самый известный утопический роман XIX века. Герой Беллами просыпается после более чем векового сна уже в социалистическом обществе в 2000 году. Ему объясняют, что все институты этого общества рациональны, то есть справедливы и вместе с тем эффективны. Отнюдь не регламентированное, социа-

¹ Сокращенный вариант данной статьи опубликован в журнале *Эпистемология & философия науки, осуществлявшем информационную поддержку конференции «Онтология артефактов»* (2011. Т. XXVIII. № 2. С. 16–35).

² В русских переводах книга выходила также под названиями «Золотой век», «В 2000 году» и др. — *Примеч. ред.*

листическое общество Беллами населено развитыми, морально ответственными личностями.

В 1932 году Олдос Хаксли опубликовал самый известный антиутопический роман XX века «О дивный новый мир». Герои Хаксли — гонимые нонконформисты в другом, абсолютно рациональном, обществе, но на сей раз в обществе тотального администрирования. Антиутопия Хаксли жертвует справедливостью и индивидуальностью ради стабильности и контроля.

Что привело к трансформации оптимизма, свойственного XIX веку, в пессимизм XX века? Почему XIX век ожидал утопию, а XX век — антиутопию? Как изменилось понимание рациональности в эти два века?

Основа утопического общества Беллами — индустриальная армия, все работники которой получают одинаковую плату. Они освобождены от наиболее сложной и опасной работы благодаря машинам. Тем, кто выполняет самые ответственные задачи, положена укороченная рабочая неделя: это позволяет без финансовых стимулов или принуждения привлекать тех работников, которые ценят дополнительное свободное время. Индустриальной армией руководят специалисты высоких моральных качеств.

Армейская организация не распространяется на личную жизнь и политику, равно как на искусство, литературу, науку, изобретательство, журналистику и религию. Все эти виды деятельности осуществляются свободно, без экспертного контроля, поскольку не имеют четких организационных принципов и, следовательно, контролировать их бесполезно. Таким образом, утопия Беллами — биполярное общество, сочетающее коллективизм и индивидуализм в идеальных пропорциях. Но как раз этого и не произошло в XX веке, когда действительно появились технические средства, позволявшие достичь утопических целей.

Антиутопия Хаксли тоже рациональное общество, экстраполированное из манипуляции массами, которую принесли новые СМИ и сборочные конвейеры Форда. Его антиутопия примиряет индивида и общество за счет упразднения индивидуальности. Правители этого общества утверждают, что все беды проистекают из отсутствия соответствия между человеческими способностями и разделением труда. Поэтому людей нужно переделать умственно и физически таким образом, чтобы они соответствовали задачам, которые обязаны выполнять. В этой схеме люди становятся техническими объектами, а их генетическое насле-

дие — лишь сырьем для формирования лучше адаптированных особей. Альтернатива, которую предлагает роман, или, скорее, дилемма, которую он формулирует, — это выбор между тотальной технологичностью и индивидуалистическим хаосом, выбор между рабством и стабильностью, с одной стороны, и свободой, ведущей к катастрофе, — с другой.

Оба романа посвящены радикальным последствиям рационализации общества посредством технологии. Их сравнение приводит к вопросу о значении рациональности. Наш здравый смысл связывает рациональное с наукой и эффективностью. Оно универсально, необходимо и морально нейтрально. Но у Беллами технический и моральный прогресс представляют собой единое целое, тогда как у Хаксли технология неразрывно связана с господством. И ни в том ни в другом случае рациональность не является нейтральной средой, в которой свободные желания и культурные импульсы открыто осуществляются и выражаются. Напротив, рациональность *и есть* желание и культура в живых социальных формах.

Вопрос, который не находит ответа в романах, таков: как рациональность сочетается с ценностями. Оба романа постулируют неразрывную связь технического прогресса с некоторой ценностью: в одном случае — со свободой, в другом — с господством. Это оставляет мало места для человеческой активности в технической сфере. Однако возникает новый подход к проблеме — не утопический и не антиутопический. Он является реакцией на провалы рациональности, вызванные демократическим вмешательством рядовых людей с реальными последствиями для конструирования технологий и технических систем. Новое понимание рациональности необходимо для ответа на вопросы, вызванные этим новым подходом к технике. Отправной точкой при обращении к этим сложным вопросам для меня стала критика рациональности, предпринятая франкфуртской школой.

Франкфуртская школа в лице Т. Адорно, М. Хоркхаймера и Г. Маркузе разработала неортодоксальную версию марксизма, которая разделяет с Хаксли скептическое отношение к прогрессу. Маркс рассчитывал, что распространение критической рациональности в конце концов сделает рабочий класс невосприимчивым к идеологиям, которые держат его в рабстве. Как и Беллами, он верил в освобождающий эффект процесса технологической рационализации под контролем рабочих. Потом

марксисты упростили его позицию и пришли к выводу, что капитализм искажает чистую техническую рациональность, а ее возрождение нужно ждать от социализма. Они полагали, что социальный прогресс освободит технологию от пут на общее благо. Хотя философы франкфуртской школы были марксистами, они считали, что классовое сознание не сформировалось в том виде, как ожидал Маркс, что возможность пролетарской революции упущена, что технология — рациональность в наиболее реальной своей форме — проблема, а не решение.

Франкфуртская школа полагала, что и капитализм, и коммунизм основываются на генерализации технических средств в той угнетающей форме, которую впервые придумал капитализм. Фабрика стала первым этапом рационализации как господства. Сегодня это повсеместное явление, характерное для медицины, развлечений, спорта, образования; оно накладывает отпечаток на повседневную жизнь и убеждения. Технология приносит власть. Включение всех и вся на планете в эту систему позволило распространить централизованное управление с уровня фабрики на общество в целом.

Существует несколько вариантов того, как реагировать на эту ситуацию. Традиционные марксисты, либералы и неолибералы по-прежнему полагают, что модернизация должна продолжаться до тех пор, пока в конце концов не выполнит своих обещаний. До сих пор переживаемые негативные последствия объявляются случайными издержками на пути прогресса. Марксисты лелеяли большие надежды в бурные годы после Первой мировой войны. Но их ожидания померкли ко времени первого расцвета франкфуртской школы в 1930-х годах. Эти философы стали свидетелями зарождения жестоких расистских и националистских идеологий, распространяемых новыми СМИ. Они не отчаялись окончательно, но не видели никакого реального пути вперед.

Франкфуртская школа критиковала прогрессистскую идею, согласно которой господство побеждается развитием рациональности, или, иначе говоря, господство отступает по мере продвижения рациональности. Этот «проект Просвещения», как называет его Хабермас, обнаружил свою несостоятельность. Вместо него мы видим катастрофический переворот идеалов Просвещения, которых Маркс еще надеялся достичь с помощью социальной революции. В ответ на эту ситуацию и в надежде

сохранить положительное ядро критической теории модернизации, освободив ее от сомнительного наследия Просвещения и марксизма, франкфуртская школа выдвинула «рациональную критику рациональности». Ее следует отличать от более привычной романтической критики, требование которой состоит в отказе от рациональности и всех ее достижений. В основе этих двух типов критики лежат разные политические мотивы, поэтому важно не смешивать их друг с другом.

Романтическая критика разума начинается в конце XVIII века и сопровождается идеализацией прошлого. Эта критика представлена в массиве романтической литературы, которая выдвигает переживание в качестве альтернативы буржуазной расчетливости и социальному конформизму. Тема обобщается антигероем Бальзака Вотреном, который декламирует: «Я принадлежу к оппозиции, имя которой — жизнь». Жизнь против механизма — вот в чем суть романтической критики. Исходя из этого романтизм считает, что рациональность не может служить надежным способом понимания жизни, но является специфической ее формой, преследующей сомнительные цели. Большинство формулировок этой критики подразумевают отрицание модерна как примера рациональной формы жизни.

Эта критика проверена двадцатым веком, обильным катастрофами разума. Войны, концентрационные лагеря, ядерное оружие, а теперь и экологические бедствия подрывают проект Просвещения. Но трудно поверить в то, что эти бедствия отняли у рациональности всякое значение и содержание. Конечно, разум не исчерпал своего потенциала, который может проявиться при критической рефлексии. Мы должны проводить различие между технической и критической рациональностью. В этом суть неромантической критики рациональности франкфуртской школы.

Романтизм разочаровывается в Просвещении, а также отказывается от веры в разум. Философы франкфуртской школы предлагают более сложный ответ — «диалектику Просвещения», которая признает катастрофу модерна, но при этом разрабатывает иную модель рационального общества. Основная проблема, с их точки зрения, заключается в изменении разума в эпоху Нового времени, который стал уязвим для эксплуатации господствующей элитой.

Хоркхаймер утверждал, что разум укоренен в определенной ценности, то есть в сохранении жизни, но в Новое время он редуцирован исключительно к средствам, к инструментам власти, которые безразличны к жизни. Хоркхаймер, соответственно, различал традиционный «объективный» и современный «субъективный» разум. Объективный разум содержит ценность. Пример тому — медицина. Она совмещает в себе рациональные методы, основанные на науке и опыте, и готовность лечить. До Нового времени такая практика была нормой социального функционирования разума. Но с возникновением всеохватывающей технической цивилизации разум становится «субъективным» в том смысле, что он подчиняется произволу, а не тем или иным внутренним целям.

Маркузе считал, что субъективный разум реализован непосредственно в современной технике. Она обеспечивает высокий материальный уровень жизни, а также открывает доступ к культурному наследию человечества, которое прежде было доступно только богатым. Развитие технологии расширяет сферу самоуправления, подтверждая тем самым отмирание классов, которое предсказывал Маркс. Но в то же время технология создает инструменты, позволяющие неопределенно долго поддерживать капиталистическую систему благодаря «поставкам товара» и включению рабочего класса в общество потребления. «Технологическая рациональность», таким образом, разбивает мечту Просвещения. Это усиление веберовского тезиса рационализации, которая теперь достигает высшей точки не в железной клетке бюрократии, а в железной клетке технологии.

Критика Маркузе как будто похожа на романтическую критику рациональности, но на самом деле его позиция несколько иная. Тяжелые последствия рационализации проистекают не из рациональности как таковой, а скорее, из тех ограничений, которые налагает на нее капитализм. В эпоху, предшествующую Новому времени, техническая практика культивировала возможности своих материалов. Следы этих представлений иногда и сейчас еще встречаются у тех, кто занят в сфере технических искусств, таких как архитектура. Архитекторы, как правило, действуют не произвольно, а реализуют ценности, заложенные в самих объектах, например естественную красоту ландшафта.

Фрэнк Ллойд Райт постарался гармонично вписать свои постройки в ландшафт, но если те же самые строительные технологии, которые он использовал, изъять из эстетического контекста, они могут породить монстров из стекла и стали, никак не связанных с природой. Формальная нейтральность современного разума, которая проистекает из математического конструирования объектов, отменяет внутреннюю связь разума с возможностями и отдает его в распоряжение власти, готовой использовать разум в угоду своим субъективным ценностям. Исходя из этого Маркузе выступал за социальную революцию внутри самого разума, то есть за включение ценностей в его технологические приложения. Он надеялся, что это может быть достигнуто посредством слияния эстетической и технической рациональностей в обновленном объективном разуме.

Теории рационального господства, разработанные франкфуртской школой, были достаточно интересными, но вместе с тем настолько абстрактными, что негодились в более поздних дебатах о технологии в таких, например, областях, как окружающая среда и Интернет. Кроме того, эти теории противоречивы. Хоркхаймер и Адорно утверждали, что инструментальный разум сущностно конституирован через подавление внутренней и внешней природы. Но Адорно при этом осуждал капитализм за искажение технологического развития и сетовал на подавление полезных технических альтернатив. Нелегко примирить эти две позиции. Еще более очевидно противоречие у Маркузе. С одной стороны, он следует феноменологии, доказывая, что современная научно-техническая рациональность внутренне связана с господством. Основываясь на этом, он отстаивает новую науку и технологию, для которых природа будет выступать в качестве субъекта и тем самым вызывать уважение к своим возможностям. С другой стороны, он отвергает любое возвращение к досовременной качественной науке о природе. Остается непонятным, какие последствия влечет за собой его реформа науки и технологии. Эти неопределенности сделали критику рациональности, предпринятую франкфуртской школой, уязвимой для обвинений в романтизме и иррационализме.

Все же, несмотря на перечисленные проблемы, я считаю основным пунктом критики рациональности франкфуртской школой обоснованным. Речь идет о социальной предвзятости, выражен-

ной в нейтральной на вид технологии, и о сопутствующем парадоксе рациональности, то есть о том факте, что прогресс технологии шел рука об руку с усилением господства.

Мы не найдем готовых решений при обсуждении этого парадокса. Ясно, что существующие технологии способствуют господству, но нам следует устранить двусмысленность критики рациональности франкфуртской школой, показать ее релевантность для сегодняшней технологической политики, а также выявить различия между критической теорией и эссенциалистским осуждением технологии как таковой. Для того чтобы понять парадокс рациональности вне романтического подтекста, нам необходима концепция *социального*, которая подходила бы для анализа *рациональных систем*. Франкфуртская школа намеревалась предпринять такой анализ, но не смогла развить нужные для него категории и методы. Ключ к альтернативному подходу содержится в понимании того, что именно нейтральность технологии связывает ее судьбу с проектом господства.

Я назвал этот подход теорией технологической предвзятости. Она требует отказа от обычного понятия предвзятости, связывающего последнюю с предрассудками и дискриминацией. Предвзятость в менее знакомом смысле проявляется в разных сферах. Например, многие предметы повседневного пользования рассчитаны на правшей из-за того, что правши преобладают. Такой перекося тоже можно назвать предвзятостью, но он связан не с предрассудками, а скорее, встроен в дизайн самих вещей и в данном качестве напоминает предвзятость, присущую технологии и другим рациональным системам.

В соответствии с этой дистинкцией, критическая теория технологии выявляет два типа предвзятости, которые я называю реальной и формальной. Критика Просвещения адресована более знакомому виду — реальной предвзятости. Философы XVIII века столкнулись с институциями, которые настаивали на своих правах, апеллируя к прошлому и религии. Привилегии аристократии были обоснованы ее мифическим прошлым, вроде участия в крестовых походах. Власть королей — ее божественной сущностью. Рациональная критика подрывала мифологические нарративы религии, монархии и феодализма. Просвещение оценивало институции, базируясь на фактах и доказательствах, что оказалось фатальным для *ancien regime*.

Много позже аналогичная критика атаковала расизм и гендерные перекосы, защищая рациональные этические принципы и научное знание.

Такого рода предвзятость я называю реальной, поскольку она основана на псевдофактах и эмоциях, на специфических смыслах, которые обуславливают дискриминацию. Например, если женщины считаются менее умными, нежели мужчины, — а это широко распространенное убеждение основано на желании так считать, а не на фактах, — то даже самым способным женщинам трудно получить работу, которой они объективно достойны. Реальная предвзятость внедряет оценки и предрассудки в сферы, которые должны регулироваться рациональностью и правом. Критика такой предвзятости, следовательно, не подвергает сомнению достоинства самого разума.

Но и технология очень предвзята в отношении правящих и подчиненных в технологически опосредованных институциях. Эта предвзятость не включает в себя предрассудки. Предвзятая технология остается рациональной в том смысле, что она не искажает связь причины и следствия. Не существует ни мифологических нарративов, ни псевдофактов, которые мешали бы ее функционированию, и, она, конечно, не содержит эмоций. Тем не менее, если разделение труда технологически построено таким образом, что заставляет подчиненных выполнять механические, повторяющиеся задачи, лишая их возможности управлять более широким фронтом работ, это означает, что их подчинение заложено технологически. Такую предвзятость я называю формальной, поскольку она не нарушает внешних норм контроля и эффективности, которые лежат в основе создания и применения технологии. Эти нормы не соответствуют никаким реальным, конкретным целям, хотя технологии, которые они регламентируют, могут фактически служить реализации таких целей благодаря побочным эффектам своего влияния на социальную жизнь.

В этом отношении формальная предвзятость технологии похожа на перекосы рынка, ставшие отправной точкой для критики капитализма Марксом. Рынок выглядит совершенно рациональным, но, как ни странно, равноправный обмен приводит к неравенству. Критика Просвещения не может ничего поделать с таким неравенством, потому что оно оправдывает себя не мифами, а обменом стоимостей. В ответ на эту ситуацию в сере-

дине XIX века возникает два направления критики. Французский анархист Прудон громко заявил, что «собственность — это кража», а доход от собственности — не результат равного обмена. Со временем появились различные вариации этой теории; одни из них утверждали, что капиталисты требуют больше, чем стоит товар, другие — что капиталисты платят рабочим меньше, чем следует по справедливости. В любом случае рынок трактовался как мошенничество, а не как логически последовательная система.

Маркс был более строгим мыслителем. Он понял, что критикам рынка следует начинать все же с факта равного обмена, а не его отрицания. Источник неравенства следует искать именно в рациональности рынка. Он доказал это в тщательно продуманной экономической теории (на ее деталях я позволю себе не останавливаться). По Марксу, все дело в разнице между заработной платой работника, которая приблизительно равна стоимости его рабочей силы, и тем, что он способен произвести в течение рабочего дня, продолжительность которого устанавливается капиталистом. Поскольку рабочий продает то, чем владеет, — свою рабочую силу, а не продукт своего труда, — капиталист имеет возможность удлинять рабочий день настолько, чтобы получать прибыль, не нарушая при этом самого принципа рыночного обмена. Проблема системы состоит не столько в ее несправедливости, сколько в капиталистическом управлении экономикой, последствиями которого являются декавалификация работы и экономические кризисы. Тем самым Маркс показал, что рациональные системы могут быть предвзяты, а также распространил эту критику на технологию.

Методологическая значимость анализа Маркса заключается не только в осуждении эксплуатации, но и в объединении явно противоположных понятий рациональности и предвзятости. Впоследствии именно так и поступила франкфуртская школа в своей критике технологии. Суть критики заключалась не в том, чтобы обвинить технологию в болезнях общества или призвать к технологической рациональности как средству повышения эффективности капитализма, а в том, чтобы показать, что сама структура технологии была приспособлена к системе угнетения. Это представление о структурной предвзятости может быть разработано в дальнейшем.

Рациональные системы и артефакты демонстрируют предвзятость двух хорошо известных типов. Во-первых, они реализуются в определенных контекстах, и эти контексты могут по-разному влиять на разных индивидов или социальные группы. Возьмем, например, географические карты. Карта может совершенно точно изображать местность и в этом отношении быть безупречно рациональной; но она бесполезна до тех пор, пока точка на карте не соотнесена с соответствующей реальной точкой на местности. Иными словами, карта работает не «сама по себе»: она взаимодействует с практической реальностью, проявляя предвзятость в самом нейтральном смысле — то есть побуждает сориентироваться. Но карта может демонстрировать и социальную предвзятость. Скажем, в эпоху географических открытий составление карт было необходимым предварительным условием завоевания той или иной территории, коренные обитатели которой передвигались по ней без всяких карт.

Второй тип заключается в дизайне рациональных артефактов, как в случае «праворуких» инструментов и рынка в теории Маркса. Дизайн зависит от многих участников (к этому мы вернемся позже, когда речь пойдет о конструктивизме); они разрабатывают рациональные решения проблем, которые их заботят, и руководствуются при этом не одним только абстрактным разумом. Таким образом, артефакты и системы отражают специфические интересы тех или иных разработчиков. Это не делает артефакты иррациональными или неэффективными; напротив, таков их способ быть рациональными. Для объяснения данного парадокса я использую понятия «перевод» и «конструкционный код».

Технологии построены в соответствии с «конструкционным кодом», который переводит социальные запросы в технические спецификации. Наглядный пример — пандусы на тротуаре. Пока их не было, ограниченная способность передвижения оставалась собственной проблемой инвалидов. Потребности инвалидов не находили отражения в конструкции тротуаров, и каждый перекресток становился препятствием для больных людей. Но как только общество приняло на себя ответственность за беспрепятственное перемещение инвалидов, конструкция тротуаров «перевела» это новое правило в дополнительные стандарты, регулирующие ширину и наклон пандуса.

Прогресс измеряется соотносительно с конструкционными кодами, а не в абсолютных категориях. Возьмем, например,

коммерческую авиацию. В этой области критерий прогресса сместился от скорости (конкорд) к вместительности (Боинг-747), а причина — рост цен на топливо, зависящий от политики ОПЕК. Ни вместительность, ни скорость сама по себе не является «верным» критерием, и здесь вообще не стоит вопрос об «абстрактной правильности», потому что выбор критерия зависит от изменения исторических обстоятельств. Современные общества имеют опыт специфически капиталистических форм прогресса, которые определяются предвзятостью господствующего класса.

На пути прогресса неудачные альтернативы отвергались и забывались, окутывались своего рода беспамятством, создававшим впечатление, будто выбранный путь был неизбежен и необходим с самого начала. Так возникали иллюзии чистой рациональности и универсального прогресса. Эти иллюзии затрудняют прогнозирование, поскольку наделяют уже существующие технологии и рационализированные социальные порядки свойством необходимости, на которое они реально не могут претендовать. Критическая теория демистифицирует иллюзии, чтобы открыть будущее. Она не предлагает ни утопий, ни антиутопий. Она помещает рациональность в политическое измерение, где ее последствия становятся вызовом для человеческой ответственности.

СИСТЕМА И «ЖИЗНЕННЫЙ МИР» В ТЕОРИИ ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИИ

В этом разделе я представляю свой собственный подход, который я называю теорией инструментализации, в полемике с Юргеном Хабермасом, наиболее видным сегодня представителем франкфуртской школы. Хабермас привнес теорию коммуникаций и теорию систем в критическую теорию и изменил направление последней — от радикальной критики современности к реформе государства всеобщего благосостояния. Он не принял антимодернизма Адорно, Хоркхаймера и Маркузе. Их критика социального господства была основана на более фундаментальной критике господства над природой, но, как он утверждал, категория господства применима только к человеческим отношениям. Сама концепция господства над природой непоследовательна и подразумевает критику техноло-

гии как таковой, не сильно отличающуюся от той, какую можно найти у Хайдеггера. Кроме того, эти философы никогда не объясняли стандартов критики, в соответствии с которыми строили свои доказательства, как и не предлагали конкретной программы реформирования современного общества. Согласно Хабермасу в философии ранней франкфуртской школы налицо зияющий дефицит норм.

В своем эссе «Технология и наука как идеология» (1968) Хабермас [Habermas, 1968] подхватывает аргумент Маркузе, а именно идею того, что проблема технологии заключается в ее универсализации — превращении в мировоззрение или идеологию, влияющую на каждый аспект жизни современного общества. Хабермас приводит следующие слова Маркузе: «Когда техника становится универсальной формой материального производства, она определяет границы культуры в целом; она задает проект исторического целого — „мира“» [Маркузе, 1994, 202]. Это критическая версия концепции технократии, согласно которой эксперты захватили и деполитизировали общественную жизнь. Саморазрастающаяся технология заменила собой рассуждения и дискуссии. Хабермас находит в концепции Маркузе способ, позволяющий отделить критику технологии самой по себе, которую он не принимает, от критики легитимирующей функции технологии в технократической идеологии.

Хабермас разрабатывает свой вариант тезиса Маркузе в полемике с марксизмом. Маркс доказывал, что конфликт между производительными силами и производственными отношениями порождает классовую борьбу. А по мнению Хабермаса, классовая борьба ослабла до такой степени, что вся теория нуждается в полном пересмотре. Конфликты, которые Маркс объяснял с помощью социальных категорий, теперь следует объяснять посредством анализа наиболее общих типов действия, присутствующих в труде и коммуникации, имея в виду, что последние лежат в основе этих категорий.

Хабермас заменяет такие понятия Маркса, как «движущие силы» и «производственные отношения», на «целенаправленное рациональное действие» и «коммуникативное взаимодействие». Целенаправленное рациональное действие ориентировано на успех и контроль. Техническое отношение к природе рационально именно в этом смысле, то есть оно более или менее эффективно и действенно. Оно отличается от коммуника-

тивного взаимодействия, направленного на взаимопонимание, а не на технический успех. Теперь исходную марксистскую проблематику замещает конфликт между типами действия, присутствующими в труде и социальных отношениях.

На основе этих различий Хабермас определяет две основные особенности всех обществ. С одной стороны, каждое общество обладает институциональным каркасом, состоящим из системы значений, практик и ожиданий, заданных коммуникативным взаимодействием. С другой стороны, существуют технические подсистемы, которые содержат знания, практики и артефакты; эти подсистемы позволяют обществу производить товары, необходимые для существования. Баланс между техническими и коммуникативными величинами меняется, но до Нового времени ведущим всегда оставался институциональный каркас.

Хабермас выделяет две стадии в развитии современности, на каждой из которых различные технические подсистемы внедряются в институциональные рамки. На первой стадии развития буржуазного общества рынок проникает везде и вытесняет институциональные основы как определяющую инстанцию общественной жизни. До тех пор пока рынок интерпретируется как квазиприродное явление, он поддерживает буржуазную гегемонию. Обмен выглядит честным, так как эквиваленты обмениваются без принуждения. Легитимность господствующих интересов обосновывается посредством отождествления их с «законами» самого рынка.

В XX веке эта легитимность постепенно исчезает, когда правительства начинают регулировать рынки. В послевоенное время технология все больше захватывает власть и организует общественную жизнь там, где рынок отступает. Рыночная легитимность открывает путь технологической легитимности. Институциональная структура все более подчиняется условиям экономического и технологического развития. Теперь легитимность достигается путем отождествления господствующих интересов с эффективным функционированием системы. Нормативные соображения последовательно вытесняются по мере того, как антиутопическая логика вступает в свои права. Деполитизация маскирует продолжающееся господство и оправдывает технократический порядок.

В этом раннем эссе Хабермас пытается установить одновременно критическое и позитивное отношение к современности.

Он постулирует двойную рационализацию, техническую и коммуникативную. Техническая рационализация, конечно, привычна, но прогресс свободы, личности и демократии Хабермас связывает именно с параллельной коммуникативной рационализацией. Он критикует не столько современность как таковую, сколько чрезмерный акцент на технической рационализации в ущерб коммуникативной при капитализме. Критика должна быть нацелена не столько на обвинение технологии, сколько на продвижение коммуникативной рационализации.

В более поздних работах Хабермас предлагает модифицированный вариант своей теории. Он понимает, что индивидуальные действия и установки не создают общества. Подлинная проблема состоит в координации действующих субъектов. Хабермас выделяет два типа координации действий, которые относятся к сферам «жизненного мира» и «системы» соответственно. Они теперь заменяют «институциональный каркас» и «техническую подсистему» его ранних работ. В новой теории координация достигается в каждой сфере особо — через взаимопонимание в сфере жизненного мира и внутри таких систем, как рынок, где коммуникативное взаимодействие ослаблено.

Концепция жизненного мира берет начало в феноменологии. Гуссерль использовал этот термин для обозначения области повседневных смыслов, лежащих в основе научных концептуализаций. У Хайдеггера жизненный мир становится системой смыслов, которые конституируются в практических отношениях с вещами. Эти смыслы «доконцептуальны», поскольку предшествуют языковому оформлению и делают его возможным. Оба мыслителя привлекают внимание к смыслу как к неустраняемому посреднику опыта. Хабермас переформулирует это понятие, чтобы подчеркнуть интерсубъективный контекст, в котором смыслы создаются и становятся общим достоянием.

Жизненный мир важен для воспроизводства индивидов, но он не способен управлять масштабными институтами современного общества. Для этих целей требуются более обезличенные, квазимеханические формы взаимодействия, такие как системы экономического обмена и административные системы. Используемая здесь концепция систем заимствована у Толкотта Парсонса, а именно из его экстраполяции некоторых характеристик рынка на другие социальные сферы. Эти системы саморегулируемые и не требуют коллективного договора; им нуж-

ны лишь самые конкретные и ситуативные отклики — типичные диалоги при покупке или при выполнении распоряжения. Современное общество зависит от эффективности систем, которые разгружают жизненный мир от чрезмерно сложных задач.

Хабермас определяет технократию как «колонизацию жизненного мира» системой. Результат, изображенный в книге «О дивный новый мир», выглядит угрожающе, но, в отличие от Хаксли, Хабермас не впадает в отчаяние. Он выступает за увеличение социального контроля над системой через свободные договоренности, которые достигаются посредством коммуникативных актов, и тем самым восстанавливает биполярную точку зрения, дополненную идеями, высказанными автором книги «Взгляд назад».

К сожалению, Хабермас полностью абстрагируется от технологии в этой версии своей теории. Вместо нее он сосредоточился на государственном благосостоянии, мультикультурализме и совещательной демократии. Например, он исследует правовое вторжение в семью, но игнорирует технологическое вторжение, например управление деторождением посредством медицинских технологий. Но технология не менее важна, чем рынки и административные системы. Она тоже функционирует как система, координирующая действия, и порождает множество серьезных проблем в современных обществах. Может ли критическая теория современного общества исключать из повестки дня вопросы, касающиеся окружающей среды, Интернета, экономического развития бедных стран и демократизации технологии?

Несмотря на эти ограничения, хабермасовский дуализм приводит к интересным выводам. Согласно Хабермасу современные общества действуют в двух базовых мирах — квазимеханическом мире каузальных институциональных взаимодействий и в мире, построенном на смыслах и понимающей коммуникации. Каждый из миров требует особого метода анализа. Но, к сожалению, в том, как Хабермас применяет эту дуалистическую концепцию, обнаруживается непроясненность.

В методологических дискуссиях различие остается аналитическим. Это означает, что система и жизненный мир существуют совместно во всех социальных институтах. Удельный вес этих двух типов координации действий в разных институтах варьирует, но значительное их пересечение всегда

присутствует. Социологи, изучающие организации, обнаруживают пересечение двух миров и типов действий в том, что формальные иерархии зачастую зависят от неформальных отношений, поскольку и те и другие необходимы для эффективного функционирования целого. Похожим образом экономисты, изучающие влияние налогообложения на занятость семейных пар, отмечают проникновение рациональной системы в семью, то есть институт, изначально основанный на коммуникативном взаимодействии.

Тезис о колонизации жизненного мира системой нелегко использовать, потому что в теории Хабермаса система и жизненный мир со-существуют во всех социальных институтах и постоянно переплетаются. Как тогда может одно «колонизовать» другое? Хабермас уклоняется от ответа на этот вопрос, молчаливо отождествляя систему и жизненный мир с отдельными институтами, такими как экономика и семья. Но в этом содержится риск понимания системы как нейтральной сферы чистой рациональности. Например, рациональность рынка в таком случае зависит от сущности экономических отношений скорее, чем от социальных альтернатив. Границы рынка могут устанавливаться со стороны, но внутри границ он действует по своим законам. Технологические средства могут применяться для той или иной социально определенной цели, но их рабочие механизмы, равно как и общий прогресс технологии, базируются, скорее, на научных, а не на социальных началах.

Формулировка Хабермаса элиминирует проблематику рационального господства, столь важную для ранней франкфуртской школы. Он возвращается к традиционному, либерально-марксистскому понятию прогресса. Социальная критика сводится к регулированию границ. С такой точки зрения системы сами по себе лишены недостатков, а проблема состоит лишь в их протяженности. Подобный взгляд на системы подразумевает консервативные выводы. Коммуникативная сфера имеет только инструментальное отношение к отделенным от нее системам и не может перестроить их снизу доверху, не разрушив их внутренней логики. Поэтому Хабермас отрицает радикальные проекты изменения структуры экономической системы, такие как самоуправление. Система отдается на откуп капиталу и экспертам.

Хабермас принимает нейтральность систем, потому что у него нет понятия формальной предвзятости и, следовательно, нет концептуального базиса для критики систем как таковых, — критики, которая не превращалась бы в их романтическое отрицание. Оказавшись между тезисом о нейтральности и романтической критикой, он не в состоянии разработать адекватную критическую теорию модерна.

Чтобы избежать этих проблем, необходимо строго придерживаться принципа: система и жизненный мир являются сквозной аналитической дистинкцией, проходящей сквозь все институты современного общества и фиксирующей не социальные сферы, а пересечение перспектив. Исходя из этого я предлагаю то, что я называю двухаспектной теорией технологии и других рациональных институтов. Согласно этой теории их внутренняя логика обусловлена социальными силами, контролирующими их конструкцию и конфигурацию.

Детали этой теории требуют тщательной проработки. Так как система и жизненный мир представляют собой не отдельные вещи, а лишь различные аспекты одного и того же, они не могут каузально взаимодействовать. Но они и не идентичны. Аналитически различаемые сущности указывают на соответствующие логические отношения. Например, теорема Пифагора объясняет отношения трех сторон прямоугольного треугольника. Похожим образом понятие формы объясняет отношение частей произведения искусства друг к другу. Соотносимые сущности — стороны, цвета, очертания — не существуют по отдельности, но в то же время различаемы. Мы постигаем их с помощью специальных понятий, приспособленных к каждому конкретному случаю. Понятие формальной предвзятости выполняет эту задачу применительно к рациональным системам, объясняя, как функции системы соотносятся со смыслами жизненного мира.

Гегель написал небольшое эссе «Кто мыслит абстрактно?», которое помогает прояснить вопрос. Гегель считает нужным пересмотреть традиционное понимание абстрактного и конкретного. Абстрактно мыслит не философ, а ординарный человек, который сводит комплекс отношений в одну характеристику. Абстракция — это синекдоха, в которой часть выступает представителем целого.

Понятие системы Хабермаса подразумевает нечто подобное. Рассмотрим рыночные отношения. Их коммуникативная про-

стота достигается за счет абстрагирования экономического обмена от комплекса отношений, внутри которых он совершается. Например, в магазине мы относимся к продавцу исключительно как к продавцу, игнорируя все прочие аспекты его личности. Это и есть абстракция в гегелевском смысле. (В забавной переключке с франкофилией Гегеля находится отношение французов к продавцам. Французский продавец и в наши дни — прежде всего личность: сначала с ним нужно поздороваться по всем правилам вежливости, и только после этого его можно воспринимать собственно в роли продавца.)

Системы в целом могут рассматриваться в отрыве от более обширного жизненного мира, в который они встроены, то есть как абстрагированное функциональное измерение жизненного мира. Например, продавец выполняет экономическую функцию, а механизм выполняет техническую функцию. Функциональное свойство человека или вещи можно выделить, но оно не является самодостаточным. Функцию продавца нельзя совершенно отделить от личности ее носителя, а прибор — от социального мира, в котором он функционирует.

Автомобиль, например, выполняет функцию транспортировки, но при этом является частью жизненного мира своего владельца; а для этого владельца важны и такие характеристики автомобиля, как внешний вид, престижность, удобство, приспособленность к городской среде и так далее. Конечно, абстракция транспортировки полезна, и обеспечивающие ее каузальные механизмы могут быть изучены и усовершенствованы, но это никоим образом не умаляет социального значения автомобиля. Таким образом, функциональная логика, работающая на системном уровне, абстрагируется от смыслов, которые циркулируют в жизненном мире.

Я называю этот подход «теорией инструментализации». Термин, возможно, не очень удачно подобран. Говоря на языке феноменологии, миры создаются, когда люди *практически* взаимодействуют с окружающей средой. Именно этот смысл я вкладываю в термин «инструментализация», не ограничивая его собственно средствами этой инструментализации. Я бы мог назвать мой подход «теорией изготовления мира» и избежать данной двусмысленности (допустив при этом другие).

В теории инструментализации каузальный аспект системного уровня назван «первичной инструментализацией», а ее со-

циальное измерение — «вторичной инструментализацией». Применительно к технологии это различие показывает отношение между двумя фундаментальными аспектами каждого функционального артефакта — его казуальной структурой и заключенными в нем смыслами жизненного мира.

Первичная инструментализация — это работа нашего воображения по отношению к техническим возможностям природных объектов. Она «функционализирует» объект. Функционализация означает *деконтекстуализацию* элементов природы с целью изолирования их полезных качеств. Деконтекстуализация сопровождается *редуцированием* объекта лишь к тем аспектам, которые позволят включить его в техническое устройство. Каждая техническая идея подразумевает операции, посредством которых объекты природы входят в социальный мир благодаря своим практическим возможностям. Простой пример — схватить палку, чтобы дотянуться до фрукта на ветке. Данное действие зависит от постижения причинности в определенном ракурсе. Все люди и даже некоторые животные способны к такого рода действиям. Современная технология соединяет большое количество подобных возможностей в согласованные модели для достижения целей, превышающих потребности любого отдельно взятого индивида.

Логика подобного симбиоза не просто чисто техническая. Она подчиняется принципам каузальности: осуществляется лишь то, что будет «работать», но при доступности самых разнообразных комбинаций. Вторичная инструментализация определяет, какие из них реализуемы. На этом уровне выбранные возможности получают значение в социальном контексте. Они не могут существовать в форме одной лишь блестящей идеи и должны быть включены в *систему смыслов*, формирующую жизнь общества. Редуцирование объекта, лишаящее его связей, на этой стадии компенсируется, поскольку техническая идея теперь опосредована этическими и эстетическими ценностями. Это и есть «жизненно-мировое» измерение техники; оно направляет артефакты на тот путь жизни, который им исторически уготован.

Технологическая конструкция сочетает оба уровня как единое целое, и оба они необходимы. Конструкция устройства всегда (если не говорить о простейших технических действиях) является социальным актом, включающим вторичную ин-

струментализацию. Полученная модель не является строго рациональной, поскольку ее применение зависит от влиятельных акторов. Одни возможные конструкции получают поддержку, в то время как другие исключаются с различными последствиями, полезными или вредными для различных социальных групп. Именно здесь формальная предвзятость технологии демонстрирует свое политическое значение.

Теория инструментализации предлагает каркас, внутри которого анализируются переплетения технологической системы и жизненного мира. Две инструментализации относятся к разным измерениям артефактов и их пользователей, но это просто аспекты, а не отдельные сферы, способные существовать независимо друг от друга (как в теории Хабермаса). Это важно. Тот факт, что современные общества способны абстрагировать функциональный уровень артефактов и конструировать абстрактные технические дисциплины, маскирует это важное социальное измерение. Абстрагирование, разумеется, имеет последствия — оно делает современную технологию возможной, но на самом деле оно не элиминирует социальное измерение. Вспомним пандусы на тротуарах. Их технические параметры отражены в спецификации, но сама спецификация не является чисто техническим документом: она отражает права инвалидов — таково ее значение в жизненном мире.

Социальный критицизм должен обратиться к конструкции и конфигурации технических систем. Теория инструментализации предлагает критический подход к технологии без технофобии. Она идентифицирует господство системы со вторичной инструментализацией, ограничивающей сферу ценностей, которым служат технологии. Именно это характерно для технологического развития при капитализме. Но теория выявляет и критические точки, в которых технологии могут быть реконфигурированы в интересах демократии. Вторичная инструментализация способна подавлять или смягчать тенденцию к господству за счет переориентирования технологий на более широкий спектр социальных ценностей. Таков результат демократического вмешательства в технологическую сферу. Различение этих двух уровней избавляет теорию от необходимости выбирать между эссенциалистской технофобией и тезисом нейтральности технологии. А именно эта дилемма заявляет о себе во многих концепциях франкфуртской школы. Главное,

чего им не хватает, — это понятие формальной предвзятости, которое только и делает возможной подлинную критическую теорию технологии.

КОНСТРУКТИВИЗМ, КРИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И КОММУНИКАЦИЯ

Ответом франкфуртской школы на провал современной веры в разум была «диалектика Просвещения», которая признавала, с одной стороны, катастрофу модерна, а с другой стороны — перспективу рационального общества, свободного от мифов и господства. Самым значительным применением этой диалектики был анализ развития массового общества. Франкфуртская школа использовала кантовский идеал просвещения, сформулированный во фразе «дерзай знать». У Маркса это идеал независимой индивидуальности, спроецированный на рабочий класс как на самый сознательный. Но на месте класса с развитым самосознанием оказалась атомизированная и обезличенная масса, предавшая надежды Маркса. Это произошло из-за необычайной эффективности пропаганды и рекламы, чего Маркс не мог предвидеть.

Подчинение всего населения идеям национализма, расизма и конsumerизма явилось новой основой классового господства в XX веке, обязано своим появлением техническому манипулированию общественной сферой. Франкфуртская школа утверждала, что в основе новой системы лежит «индустрия культуры», которая придает культуре свойство продукта массового потребления. Сегодняшние продукты культуры являются товаром массового спроса и кардинально отличаются от культурных артефактов прошлого — даже тех, которые продавались на рынках. Прежняя культура обладала принципами и логикой, укорененными в религиозной и художественной традициях. Продажа предмета искусства не определяла его внутреннюю структуру так сильно, как это происходит с современными товарообразными продуктами культуры. Эти продукты тиражируют конформистскую идеологию в стереотипных характерах, сюжетах и образах. Возникает новый авторитаризм, при котором принятие фактов, утвержденных властью и отраженных в СМИ, представляется единственной рациональной реакцией на «реальность». Это и есть рационализация самого сознания. Но остается и противоположный идеал: демократическая дис-

куссия между свободными индивидами все еще является императивом критического разума.

Хабермас конкретизировал этот идеал с социологической точки зрения. В своей ранней книге он доказывал, что вмешательство частных лиц в общественные дискуссии в буржуазных обществах образуют новую форму социального, которую он назвал публичной сферой. Специфическая атмосфера общения и его литературное оформление, акцентирующие ценность личных переживаний и частной жизни, отличают эту новую форму социального от институций до-буржуазной культуры. Гражданский идеал как право участвовать в рациональном обсуждении общего блага возникает из новой коммуникативной структуры. Хабермас завершает книгу выводом о разрушении буржуазной публичной сферы средствами массовой информации. По мере того как публичная сфера расширяется до масштабов всего населения, она трансформируется и инструментализируется правительствами и корпорациями. Рациональная дискуссия сменяется пропагандой, а гражданский идеал в его настоящем смысле уступает место пассивным управляемым массам.

Оскар Негт и Александр Клюге возражали Хабермасу, защищая идею пролетарской, или оппозиционной, публичной сферы как альтернативную форму демократического самовыражения и дискуссий. Но они имели в виду прежде всего формы активности, характерные для пиковых стадий политической борьбы, — такие как советы рабочих или студенческие бунты; но подобные явления не играли большой и долговременной роли в жизни развитых обществ. Пессимистический вывод Хабермаса перекликался с маркузианской идеей одномерного человека, набравшей популярность в 60–70-е годы. Большинство критических теоретиков было настолько привержено схеме ухудшения и упадка, что никто из них, включая Хабермаса, не отметил противоположную роль Интернета.

Причины этого невнимания коренятся в истории франкфуртской школы. Ее идеи разрабатывались в то время, когда левые терпели поражение. Тогда системы массового вещания навязывали антиутопический образ технологии. При всей преувеличенности пессимизма этих философов в чем-то они, несомненно, правы. Но их критика технологии ограничена этим историческим контекстом. Сегодня она выглядит абстрактной и технофобской; поэтому ее не поддерживает более молодое

поколение исследователей, настроенное на новые формы полемики и считающее Интернет естественной средой обитания.

Например, дебаты о технологии представляют теорию публичной сферы в новом свете. Борьба за окружающую среду, активность пользователей Интернета и потребителей медицинских технологий, экономические и технологические войны в развитых странах свидетельствуют о том, что «массы» не были полностью растворены в системе. Эти войны не всегда политические в традиционном смысле, но они опровергают антиутопическую тенденцию критической теории. К сожалению, критическая теория как в своих ранних формулировках, так и в недавних работах Хабермаса и его последователей игнорирует проявления активности в технической сфере. Она остается погруженной в антиутопизм эпохи теле- и радиовещания, хотя Интернет создает новый социальный и технический контекст. Если радикальная политическая концепция франкфуртской школы хочет выжить, она должна принять во внимание изменившийся контекст.

Франкфуртская школа нуждается в новых интеллектуальных ресурсах, чтобы осмыслить тему технологии. Эти ресурсы могут быть найдены в конструктивистских исследованиях технологии. Социальный конструктивизм предлагает особый метод изучения технологии и подчеркивает роль действующих лиц в технологическом развитии. Не будучи политической теорией, социальный конструктивизм тем не менее подрывает технократическую идеологию и теорию модернизации. В контексте критической теории мы можем говорить о следующих его политических импликациях.

Термин «социальный конструктивизм» относится к некоторым подходам в исследованиях науки и технологии, которые отрицают позитивистские и детерминистские теории, рассматривающие науку и технологию в качестве продуктов сугубо рационального понимания природы. Если только логика и очевидность отвечают за исход научных споров, то социальное объяснение самых динамичных сил современного общества заведомо исключено. Социальные конструктивисты, напротив, подчеркивают социальное оформление науки и технологии, но не в ущерб их рациональности, а в качестве контекста и посредника. В своих исследованиях конструктивисты стараются придерживаться «принципа симметрии», который при-

знает как когнитивные, так и социальные аспекты в любой научной и технологической деятельности.

В 80-е годы социальный конструктивизм дал импульс новым подходам к исследованию технологии. Ключевые фигуры нового направления — Тревор Пинч, Вибе Бийкер, Бруно Латур. Они рассматривают эффективность как аналог позитивистской истины. Как позитивизм освобождает научную истину от социального объяснения, так и традиционная социология пренебрегает социальным объяснением технологии. Прогресс эффективности они рассматривают как внешний источник социального изменения. Но для социально-конструктивистских исследователей технологии, напротив, технические решения, как и научные решения, лишь теряют определенность, если руководствуются чисто внутренними критериями — такими как эффективность.

Конструктивисты были не единственными и даже не первыми, кто отверг детерминизм ради эмпирически ориентированных исследований конкретных технологий. Но их работа подчеркнула два фундаментальных методологических принципа: 1) роль *интерпретации* в технологической модели и 2) *совместную конструкцию* артефактов и социальных групп. Применение этих принципов к изучению технологий открывает материальную базу модерна для жизненного мира. Далее я продемонстрирую это на примере Интернета.

Социально-конструктивистские исследования технологии пытаются выделить «релевантных акторов», вовлеченных в процесс создания технологической модели. Эти акторы определяют ту или иную ситуацию как техническую проблему и ищут для нее техническое решение. Но их решения не являются единственно возможными; они зависят от интересов и целей акторов. Даже небольшое расхождение в подходе к одной и той же проблеме может привести к очень разным техническим решениям. Это называется «интерпретативной гибкостью» артефактов. Как поясняют Т. Пинч и В. Бийкер, интерпретация артефактов влияет не только на их использование, но также на их конструкцию. В этом смысле технология является социально зависимой. Интерпретативная гибкость особенно существенна на ранних стадиях развития технологий.

Технология не сводится к созданию артефактов; она, по мнению Латура, представляет собой систему людей и вещей, связанных посредством различных типов ассоциаций. Присутствие

системы во многих случаях очевидно; таковы, например, фабрика или больница — они организованы на базе определенных технологий, которые опосредуют действия индивидов. В других случаях может возникнуть латентная структура — как реакция на непредусмотренные побочные эффекты функционирования системы или ее неисследованные возможности. Основой может быть, например, коллективный опыт жертв загрязнения окружающей среды или вредных пищевых продуктов, когда они осознают источник общей проблемы и объединяются, чтобы противостоять опасности. Но в такой же мере это относится и к пользователям технологий, когда они открывают и внедряют новые способы эксплуатации технологических систем и устройств.

Однако в большинстве конструктивистских теорий латентные группы, или «нерелевантные акторы», у которых недостает влияния, чтобы непосредственно воздействовать на дизайн технологий, не представлены. Кроме того, конструктивисты уделяют мало внимания диффузному влиянию идеологии и культуры, которые играют существенную роль в политике.

Некоторая методологическая ограниченность социал-конструктивистских исследований технологии коренится в их происхождении от исследований науки. В научных спорах участвуют акторы, которые в общем равны по степени власти, преданны своей профессии и более или менее искренни в своем стремлении к истине. Мир технологии совершенно иной. Большая часть технологий создается организациями, а не индивидами, и диспропорция в степени власти, которой они обладают, часто слишком велика. К тому же организации заслуживают меньше доверия, чем отдельные ученые, и осуществляют неприкрытую манипуляцию гораздо чаще, чем ученые идут на подлог. Не идеализируя научное сообщество, мы можем с уверенностью утверждать, что картина социума, смоделированная по его образцу, совершенно нереалистична. Конструктивистские представления следует дополнить другими методами, чтобы получить более развернутую картину социального значения технологии.

Несмотря на упущения, конструктивизм полезен для преодоления недостатков франкфуртской школы. Теория индустрии культуры была сформулирована на определенном этапе развития СМИ, а именно в ранние дни радио и кино. Теории упад-

ка публичной сферы и одномерного общества отражали реалии телевизионной эры, когда телевидение приобрело особое влияние. Однако медиасистемы радикально изменились после возникновения Интернета, и поэтому прежний анализ необходимо модифицировать. Методы конструктивистов в общем дают такую возможность за счет гораздо более детализированной (по сравнению с франкфуртской школой) оценки отношений между техническими и социальными конструкциями.

Хотя две эти концепции и не связаны между собой, их тем не менее можно сочетать, поскольку между ними существует значительное методологическое сходство. Как формы потребления, по утверждению франкфуртской школы, проникают в содержание и внутреннее устройство продуктов индустрии культуры, так, по мнению конструктивистов, социальные требования проникают в содержание и внутреннее устройство технологий. Эта параллель свидетельствует о попытке выйти за пределы понятия автономных сфер, нейтральных и самодостаточных, которые просто используются социальными акторами для внешних целей. Критические теоретики и конструктивисты настаивают на том, что культурные и технические продукты не полностью детерминированы своей внутренней логикой и что социальные акторы играют роль в их внутреннем оформлении.

Примером этого может служить Интернет — технология, которая находится еще на ранней стадии развития. Интернет подтверждает базовую конструктивистскую идею, согласно которой технологии суть не вещи, а процессы, столь же зависимые от смены интерпретаций, как и познание природы. Поскольку Интернет является незаконченным и развивающимся продуктом, невозможно зафиксировать его природу раз и навсегда и дать окончательную оценку (положительную или отрицательную) тем его свойствам, которые могут кардинально измениться в недалеком будущем.

История Интернета демонстрирует всю сложность отношений между технологией и политикой. Первоначально названный «Арпанет», он был создан Пентагоном, чтобы обеспечить совместную работу стандартных компьютеров и тем самым облегчить вычисления и обмен информацией в области разработок оборонного значения. Причиной его последующего развития стал выбор в пользу необычного метода обработки данных.

Компьютеры, объединенные в сеть, сообщаются друг с другом по телефонным линиям, посылая маленькие «пакеты» данных, которые объединяются в пункте назначения. Телефонные компании обеспечивают регулярные звонки на центральные компьютеры, и ту же систему они распространили на обмен данными. В принципе в компьютерных сетях, основанных на пакетной коммутации, центральный компьютер уже не нужен, но он тем не менее сохранялся по причине недостаточной производительности первых персональных компьютеров и институциональных особенностей телекоммуникаций. Эта ситуация отразилась в главном раннем протоколе обмена данными, известном как X.25. При этом сам обмен пакетами базировался на конкурирующем протоколе TSP/IP, который предписывал локальным компьютерам запускать маленькие программы, создающие и отсылающие пакеты. Сети, основанные на X.25, были доступны через неудобные терминалы с малой производительностью, а Интернет требовал от каждого компьютера, включенного в систему, управлять собственными данными. Поэтому развитие Интернета задерживалось в ожидании более дешевой и высокой производительности.

Эти скрытые технические особенности имели серьезные социальные последствия. Централизованный контроль Интернета был не нужен, да и невозможен, что привело к неожиданным результатам — его интернационализации и инновационной активности его пользователей. Эти последствия не были неизбежными в том смысле, что не были изначально предусмотрены создателями Интернета. Скорее, они представляли собой неожиданные возможности, замеченные и оцененные социальными акторами, а эти последние модифицировали систему в том направлении, о котором ее разработчики даже не догадывались. По мере распространения персональных компьютеров и расширения Интернета модификация последнего постепенно изменила самый смысл новой технологии. В 1980-е годы Интернет стал товаром, а в 1990-е Всемирная паутина сделала его популярным. Миллионы новых пользователей наделили его новыми функциями и осуществили вторичные инструментализации, то есть предложили разного рода технические новшества — прежде всего, в сфере программного обеспечения.

Возможность подключить к системе любой компьютер, поддерживающий протокол TSP/IP, способствовала интернацио-

нализации системы. Это работало против национальных телекоммуникационных компаний, каждая из которых отказывалась присоединяться к сети протокола X.25, если она контролировалась извне. Французская компания *Teletel*, поначалу гораздо более успешная, чем большинство прочих национальных компаний такого рода, не смогла привлечь иностранных пользователей и постепенно уступила место Интернету. Интернационализация Интернета имела огромные последствия для локальных политических конфликтов: противоборствующие стороны впервые получили возможность обращаться к мировой аудитории без больших затрат и с помощью подконтрольных лично им технических средств. Так возникла технологическая база, позволившая мировому общественному мнению оперативно осуждать проявления тирании в любом месте земного шара.

Конструктивные особенности, способствовавшие географическому расширению Интернета, помогли и его социальному распространению. Разветвленной технической структуре стала соответствовать столь же широкая социальная структура. Это, конечно, никак не входило в первоначальные планы Пентагона, но созданная им система была быстро приспособлена к коммуникативным потребностям. Любопытно, что один из ее разработчиков придумал в приложение к ней электронную почту просто ради забавы. А потом это изобретение причудливым путем, через множество промежуточных стадий, привело к появлению «блогосферы», Фейсбука и множества онлайн-организаций, лоббирующих те или иные интересы. Протокол TCP/IP давал гарантию, что никакие надсмотрщики не смогут приостановить эту вторичную инструментализацию, которая превратила сеть из средства обмена конфиденциальной информацией в открытое общественное пространство.

Многочисленность акторов и их потребностей подразумевает существование разных моделей Интернета, ни одна из которых еще не исчерпала себя. Различное отношение к Интернету диктуется идеологическими и социальными соображениями, и речь идет уже не просто о разных способах пользования одной и той же технологией, а о том, что своего отражения в ее конструкции ждут самые разные социальные стереотипы и даже образы жизни.

Сегодня сосуществуют три конкурирующие и дополняющие друг друга модели Интернета. Информационная модель

имеет в виду акторов, действующих в научном сообществе. Потребительская модель отвечает нуждам бизнеса. Коммуникационная модель, введенная непрофессиональными пользователями, трансформирует Интернет в инновационный социальный феномен. Перспективы каждой модели трудно представить исчерпанными, и причина тому — сетевая политика нейтралитета: ни один тип данных не имеет преимуществ перед другими. Именно поэтому бизнес при всем своем могуществе так и не смог превратить Интернет в очередное рекламное пространство, не служащее межлическому общению.

Не приходится отрицать, что дискуссии в Интернете ведутся на самом разном уровне. Любой человек может выступить с любыми замечаниями, и часто они бывают весьма несдержанными. Но осуждать Интернет за это несправедливо. Ведь и уровень политических дискуссий оставляет желать много лучшего, если они ведутся на улице. Так что перед нами не столько технологическая проблема, сколько недостаток гражданской культуры. Зато умеренные онлайн-сообщества, независимые информационные сайты, блоги и социальные сети представляют собой замечательно плодотворное явление. Эти пространства общения разрушают монополию массового вещания, которое воздействует на общественное мнение в одностороннем порядке. Сетевое пространство возрождает публичную сферу дискуссий и дебатов.

Технология не только сделала это возможным, но и сама выступает в качестве центрального объекта обсуждения в новой публичной сфере. Интернет связывает разрозненных пользователей и жертв глобальных технических систем, лежащих в основе современных обществ. Движения в защиту окружающей среды пользуются Интернетом для привлечения сторонников. Сообщества больных людей самоорганизуются, чтобы требовать повышения финансирования медицинских исследований и облегченного доступа к новым методам лечения. Таким образом, Интернет имеет уникальный и до сих пор еще мало задействованный демократический потенциал, позволяющий скрытым сообществам формулировать и заявлять свои потребности.

Возможно, наиболее важным проявлением этого потенциала на сегодняшний день является защита Интернета его пользователями. Обширные онлайн-сообщества дают их членам

возможность протестовать и отстаивать свои права. Например, когда Фейсбук объявил своей собственностью все материалы, попадающие на его странички, пользователи организовали протест и добились отмены решения. Угрозы сетевой нейтральности немедленно встречают отпор большого количества пользователей, заинтересованных в сохранении демократических принципов общения.

Использование Интернета для нужд демократии имеет отношение к теме рациональности и господства. Франкфуртская школа требовала поместить рациональность в социальный контекст и рассматривала господствующую рациональность как инкорпорированную в бюрократических и технологических системах развитого капитализма. Политическое пространство Интернета и активность пользователей в таких областях, как защита окружающей среды и медицина, свидетельствуют о существовании иной рациональности — рациональности снизу. Концепция «порабощенного знания» Фуко отражает опыт тех, чьи интересы слабо представлены господствующей рациональностью. Перспектива снизу выявляет зоны молчания власти и вдохновляет на сопротивление там, где интересы участников не соблюдаются властными структурами. Рациональность и ценности сближаются в процессе включения социальных интересов в пересмотренные технические коды. В той мере, в какой технические коды представляют интересы социальных групп, они являются политическими, а участие индивидов в их пересмотре становится политическим вмешательством.

И как франкфуртская школа связывала господствующую рациональность с социальным субъектом и его проектом, так и новый тип рациональности снизу следует связать с соответствующим субъектом и проектом. Это множественный субъект; он существует в технических сетях, которые достигают самознания и начинают выступать как устойчивые сообщества. Там, где их борьба вносит новые смыслы в техническое развитие, они воздействуют на модели и технические дисциплины. Такое общественное воздействие на технологические вопросы объединяет рациональность и ценности.

Интернет — пример взаимного конструирования технологии и общества в действии. Так как он расширяет границы коммуникативных свойств, представленных техническими кодами,

я называю его «демократической рационализацией». Этот термин — очевидный оксюморон. У Вебера рационализация состоит в вычислении и контроле, она неразрывно связана с нисходящим управлением и администрированием. Вебер не критично полагал, что организация современного общества требует строгого регулирования сверху вниз. Это и привело его к пессимистическим выводам. Априори исключив демократию и совместный контроль над процессами, он приговорил развитие общества к железной клетке. Но демократическая рационализация ломает клетку.

Мы должны выйти за пределы веберовской концепции и принять понятие такой рационализации, которая не предсказывает будущего. Это более общее понятие по-прежнему подразумевает средства оптимизации — вычисления и инновации, но не подразумевает тираническую систему контроля. На основе взаимной дисциплины и демократического руководства возможен иной тип «рационального» общества. Оно потребует и другой технологии. И эта перспектива проливает новый свет на все более частое вмешательство снизу.

Это вмешательство обычно выражается не в форме электоральных предпочтений. Скорее, оно осуществляется в виде дебатов, слушаний, судебных тяжб, участия в проектировании и творческого распределения средств. Оно часто добивается улучшения действующих систем — например, в случае экологического законодательства или обогащения компьютерных сетей коммуникативными средствами. Вполне законно называть эти успехи «рационализациями», поскольку они на самом деле повышают эффективность той или иной системы — но в целях, установленных с помощью более демократических процедур, чем принятые в корпорациях и правительственных учреждениях.

Новая технологическая политика постепенно внедряет технологию в общественную сферу, где она становится предметом нормативного анализа. Нам необходимо адаптировать теорию демократии к этим развивающимся реалиям. Доступная концептуальная структура может быть почерпнута из так называемой дилеммы дилетант/эксперт: недостатки и пороки технологических систем побуждают общественных активистов выступать, а экспертов реагировать, что приводит к оптимизации систем.

Это не означает замену экспертов дилетантами. Напротив, там, где их общение имеет здоровый и конструктивный характер, они учатся друг у друга, демонстрируя взаимодополнительность повседневного опыта и технической рациональности. Популистский антиинтеллектуализм, конечно, опасен, но еще большую тревогу вызывает непогрешимость эксперта. Она побуждает воспринимать любой общественный протест как нечто неуместное, регрессивное и идеологически-предвзятое. Однако именно общественное вмешательство лежит в основе многих технических кодов, которые впервые были сформулированы много лет назад и сейчас принимаются экспертами как непреложные правила. Поэтому и в наше время нет оснований исключать интервенции общества из технических дебатов. Но экспертиза склонна забывать свою собственную историю и, в частности, зачастую весьма сложные истоки нынешних стандартов. Сейчас, в период стремительных изменений технологии, происхождение выходит на первый план. Ясно, что общественное влияние на технологию — это не вторжение извне в полностью автономную техническую сферу, а органический аспект динамики технического развития. Техническая сфера должна быть определена по-новому, чтобы включить опыт пользователей, с одной стороны, и экспертное знание, — с другой. Взаимодействие между ними и создает два разных способа восприятия одного и того же базового технического феномена — с позиции системы и с точки зрения жизненного мира.

Эти заметки о технологии, надеюсь, помогут прояснить значение общественной сферы. Представление о том, что именно является предметом общественного обсуждения, со временем, естественно, менялось. Для ранних демократий на первом месте стояли вопросы законодательства и войны, а из прочего мало что считалось достойным. Но в XIX веке сфера публично распространилась на те области, которые прежде были достоянием природы или Бога. Рабство упразднили, брак и образование вывели из-под религиозного контроля и переподчинили светским властям. Вскоре правительства начали вмешиваться и в экономику, изымать ее из сферы «природного закона» и превращать в сферу политическую. Процесс декоронизации продолжается: технология, еще один псевдоприродный кумир, включается публичную сферу.

Этот процесс можно, конечно, представить как общий случай Марксовой теории классовой борьбы. Маркс тоже предсказывал технологические перемены при социалистической системе: рабочие, использующие технологию, смогут определять и ее будущее. Позиция ранней франкфуртской школы в этом плане соответствовала марксистской критике политической экономии: она демистифицировала предвзятости доминирующей технологической рациональности. Сегодня мы можем распространить и конкретизировать этот подход в критической теории технологии. Подобно марксистской критике, она объясняет борьбу за технологическую конструкцию как рациональные действия в демократическом социальном контексте.

Я начал со сравнения утопических и антиутопических образов технологии, но в реальности мы не ищем первого и не бегом от второго. Угроза технологии снизилась с появлением новых социальных движений, которые утвердили возможность общественного воздействия на техническую сферу. Защита окружающей среды и Интернет вновь вселили надежду в возможность контроля над технологией. Хотя главное мое внимание и было уделено полемическим инициативам в технической общественной сфере, сами по себе они не способны решить эту проблему. Доминирующая идеология по-прежнему господствует, но, по крайней мере, ее гегемония не защищена технологией в такой мере, чтобы обладать иммунитетом от критики. Борьба за свободу коммуникаций открывает перспективы дальнейших демократических преобразований. И пока успех в этой борьбе является нашей теоретической целью, критическая теория способна вносить свой вклад в ее достижение.

ЛИТЕРАТУРА

- Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального общества. М., 1994.
 Habermas J. Technology and Science as «Ideology», trans. Jeremy J. Shapiro. Boston: Beacon, 1968.

ОБ АВТОРЕ

Эндрю Льюис Финберг — профессор философии технологии факультета коммуникаций, Университет Саймона Фрезера, Канада. Родил-

ся в 1943 г. в США. В 1973 г. получил степень доктора философии в Университете Сан-Диего, где преподавал до 2003 г. С 2003 г. преподает в Университете Саймона Фрезера. Один из ведущих представителей философии технологии, ученик Г. Маркузе, критически развивает идеи франкфуртской школы. Разрабатывает концепцию демократического изменения технологии, соединяя философскую критику технологии с эмпирическими исследованиями социологии науки и технологии. Автор семи книг, среди них: *Critical theory of technology*. Oxford University Press, 1991; *Alternative modernity: the technical turn in philosophy and social theory*. University of California Press, 1995; *Between reason and experience: essays in technology and modernity*. MIT Press, 2010. В качестве приглашенного профессора преподавал в крупнейших университетах мира. Его работы переведены на многие языки.

О внутренне присущей технологиям нормативности: общие положения¹

ХАНС РАДДЕР

1. ВВЕДЕНИЕ

Как следует из названия статьи, технологиям внутренне присуща нормативность. Для раскрытия и обоснования этого тезиса необходимо, прежде всего, убедительно определить понятия «технология» и «нормативность». Соответственно, в разделе 2 (тип) технологии характеризуется как «(тип) артефактной функциональной системы, обладающей определенным уровнем стабильности и воспроизводимости». Здесь же я отвечаю на принципиальный вопрос о том, каким образом мы можем успешно реализовать подобные технологии. В разделе 3 понятие нормы раскрывается как «социально внедренная директива, предписывающая, что людям следует (или не следует) говорить или делать». Затем я перечисляю несколько важных аспектов функционирования норм в реальных практиках. Наконец, в разделе 4 я касаюсь различения случайно-нормативных и внутренне-нормативных технологий и детально объясняю, почему технологиям присуща внутренняя нормативность. Также я привожу примеры, иллюстрирующие важную

¹ Развернутое изложение точки зрения автора см. в работе «Why Technologies Are Inherently Normative?» [Radder, 2009].